



Т. ШЕВЧЕНКО
АВТОБІОГРАФІЯ



 **FOLIO**

Тарас Шевченко
Автобіографія

«Фолио»

ББК 84(4УКР)

Шевченко Т. Г.

Автобіографія / Т. Г. Шевченко — «Фолио»,

Т. Г. Шевченко (1814–1861) – великий український поет, талантливий прозаїк і драматург, видаючийся художник, в произведениях которого нашла отражение целая эпоха нашей истории. В книгу включена «Автобіографія» Т. Г. Шевченко, а также повесть «Прогулка с удовольствием и не без морали», навеянная путешествием автора по Киевской губернии.

ББК 84(4УКР)

© Шевченко Т. Г.

© Фолио

Содержание

Прогулка с удовольствием и не без морали	6
Часть первая	6
I	6
II	9
III	11
IV	15
V	18
VI	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Тарас Григорович Шевченко

Автобіографія



1814–1861

Тарас Шевченко

Прогулка с удовольствием и не без морали

Часть первая

Посвящаю Сергею Тимофеевичу Аксакову в знак глубокого уважения

I

Вздумалось мне в прошлом году встретить нашу прекрасную украинскую весну где-нибудь подальше от города. Хотя и в таком городе, как садами укрытый наш златоглавый Киев, она не теряет своей прелести, но все же – город, а мне захотелось уединенного тихого уголка. Эта поэтическая мысль пришла мне в голову в начале или в половине апреля, не помню хорошенько. Помню только, что это случилось в самый развал нашей знаменитой малороссийской грязи. Можно бы и подождать немного – весной грязь быстро сохнет. Но уж если что мне раз пришло в голову, хотя бы самое несбыточное, так хоть роди, а подавай. На этом пункте я имею большое сходство с моими неподатливыми земляками. Писатели наши и вообще люди приличные чувство это называют силою воли; а его просто можно назвать воловьим упрямством. Оно живописнее и выразительнее.

Долго я перебирал в памяти своей моих добрых приятелей, укрывшихся в тени уединения, т. е. посвятивших себя совершенному бездействию. После тщательной переборки я остановился на одном отставном гусаре, называвшем меня своим родичем, чему я совершенно не противоречил. Лежал он или, как бы выразиться иначе, прозябал он в самом живописном уединенном уголке Киевской губернии, верстах в трех от местечка Лысянки. На него-то и пал мой выбор.

На тройке добрых почтовых лошадей я с Трохимом и с чемоданом поутру рано выехал из Киева. До первой станции – Виты, мы добрались без особых приключений и Виту оставили благополучно. Только как раз против самого Белокняжего поля, не доезжая каплицы, или часовни, у левой пристяжной лопнули постромки. Мы думали было на паре кое-как дотащить до Василькова. Не тут-то было. Грязь по ступицы, и наша пара ни с места. К счастью нашему, мужик вез лозы для изгороди, мы у него, не без труда, правда, выпросили пару лозин и устроили себе кое-как постромку.

В Василькове мы закусили с Трохимом фаршированной жидовской щукой, крепко приправленной перцем, и потянулись дальше. Пошел мелкий тихий дождик, потом крупнее и крупнее, наконец полил как из ведра; можно бы было захватить в корчму в Мытныци (село) и переждать дождь, но я как сказал себе, чтобы нигде не останавливаться до Белой Церкви, так и сделал. В Белую Церковь приехали мы уже ночью. Посоветовавшись с Трохимом, решились мы ночевать на почтовой станции, и, я вам скажу, мы хорошо сделали, что так придумали умно: а иначе мне, может быть, никогда не пришлось бы писать этой «Прогулки», а вам читать ее, мои терпеливые читатели, потому что узел описываемого мною происшествия завязался именно в эту достопамятную ночь. Только не на почтовой станции, как это большею частью случается, а... но зачем забегать вперед?

Решившись ночевать на станции, я спросил у смотрителя, есть ли у них комната для проезжающих.

– Есть две, – отвечал он, – только обе заняты. Какая-то барыня, должно быть, с [молодою] дочерью заняли обе комнаты.

«Барыня с молодой дочерью?» – подумал я.

Эх, как досадно, что я не гусар или хоть просто [не] военный, я бы знал, как тут распорядиться: просто по праву проезжающего по казенной надобности (военные не ездят на почтовых по своей надобности) закупорил бы мать с дочерью в одну комнату, а в другой сам расположился и на досуге занялся бы обсервацией в замочную скважину. Вот вам и начало романа, чисто в гусарском вкусе. Я было, признаться, и того... да нет, не хватило духу; сказано: кому не написано на роду быть военным человеком, так тот хоть в аршин запусти усы, а все останется штафиркой.

До местечка оставалось еще с добрую версту, а до жидовского трактира, где мы предположили провести ночь, по крайней мере версты две, но делать было нечего, и мы потащились ночью под проливным дождем отыскивать жидовский трактир. Трохим, не совсем довольный моим решением, начал было что-то возражать, но я махнул рукою, и мы пустились в дорогу. Через час времени мы благополучно достигли желаемой цели.

Пользуясь сим удобным случаем, я мог бы описать вам белоцерковский жидовский трактир со всеми его грязными подробностями, но фламандская живопись мне не далась, а здесь она необходима. Замечу мимоходом: во-первых, меня никто не вышел встретить, как то бывает в русских трактирах, но этому могла быть причиною темная ненастная ночь, – причина важная для самого храброго жидовина; во-вторых, по скользким ступеням вскарабкивался я кое-как в темный коридор и наткнулся на что-то железное, так ловко наткнулся, что чуть себе лба не раскроил. Поутру я же увидел, что это были дроги с рессорами из-под какого-то экипажа. Таково было мое вшествие в иудейскую гостеприимную обитель. В комнате уже меня встретил жид, довольно благовидной наружности, и помог мне стащить с плеч насквозь промокшую непромокаемую шинель и униженно спросил, что мне будет угодно?

– Чаю и комнату, – отвечал я.

Жид сказал:

– Зараз, – и скрылся за дверью.

В ожидании жидовского «зараз» я грелся и разминался, ходя взад и вперед по комнате. Комната была что-то вроде лавки, с шкафами около стен и стеклянным ящиком вдоль комнаты вроде застойки. Перед ящиком я остановился и между галантерейными безделушками, как бы вы думали, что я увидел? Книгу в желтой обертке. А я только хотел было сказать Трохиму, чтобы достал книгу из чемодана, а тут она сама в руки лезет, и Трохима тревожить не нужно. Беру со стола свечу и читаю заглавие, кажется, славянскими буквами: «Украинская поэзия» Н. Падуры. «Поди-ко, голубчик, сюда, я тебя давно не видал». Ящик, однако ж, был заперт. Я позвал хозяина, но вместо хозяина явился какой-то жидок с рыжей бородкой. Я просил его достать мне из ящика книгу, но он рекомендовался мне, что он фактор, а не хозяин лавки. Я велел ему позвать хозяина. Явился хозяин, тот самый благовидный жид, что помогал мне снимать непромокаемую шинель. Я просил его достать книгу. Он достал и, подавая ее мне, сказал:

– Десять злотых.

– А если только прочитать, – спросил я, принимая книгу, – что будет стоить?

– Пять злотых, – сказал жид, побрякивая ключами.

Делать нечего, я отдал пять злотых и спросил нож, чтобы разрезать дорогую книгу, но это было напрасно: книга была разрезана и даже запачкана. Кроме сальных пятен я заметил на полях листов то прямые черты, крепко проведенные где ногтем, а где и карандашом, то знак восклицательный, то знак вопросительный, то черт знает что. «Ай, ай! – подумал я. – Да ты побывала уже в руках у нашего брата критика».

Портить карандашом или ногтем чужую книгу непростительно, но тут все-таки есть хоть какая-нибудь мысль, что я, дескать, читал такую книгу и нашел в ней это хорошо, а это дурно, хотя это подобного читателя совсем не извиняет в порче чужой собственности. Чем же изви-

нить господ, портящих стекла на почтовых станциях своим драгоценным алмазом, выводя на стекле свой замысловатый вензель, как на каком-нибудь важном документе, четко и выразительно? Чем извинить этих господ? Для чего они это делают? Какая тут мысль? А какая-нибудь да кроется же в этих замысловатых вензелях и росчерках? Неужели только та, что такой-то и такой проезжал здесь с алмазным перстнем? Только, и ничего больше. Какое мелкое, ничтожное тщеславие! А говорят и даже пишут, будто бы знаменитый лорд Байрон изобразил где-то в Греции на скале свою прославленную фамилию. Неужели и этот крупный человек не чужд был сего мелкого, ничтожного тщеславия?

Странно, между прочим. Это мелкое тщеславие заставляет меня (да, может быть, и не одного меня) смотреть, разумеется, от нечего делать, на эти исцарапанные стекла и прочитывать давно знакомую книгу, исчерченную карандашом и ногтем. Так и теперь со мной случилось. Поэзия Падуры мне известна и переизвестна, а я заплатил за нее пять злотых, так, из одной прихоти, как говорится, чтобы себя потешить; а между тем, когда увидел каракули на полях, начал читать, как бы никогда не читанную книгу.

Над песней под названием «Запорожская песня» было весьма четко написано: «Скальковский врет». Что бы значила эта весьма нецеремонная заметка? Я прочитал песню. Песня начинается так: «Гей, козаче, в имя Бога». Какое же тут отношение к ученому автору «Истории нового коша»? Не понимаю. Ба! вспомнил. Эту самую песенку ученый исследователь запорожского житья-бытья вкладывает в уста запорожским лыщарям. Честь и слава ученому мужу! Как он глубоко изучил изображаемый им предмет. Удивительно! А может быть, он хотел просто подсмеяться над нашим братом хохлом и больше ничего, – бог его знает, только эта вольнопольская песня столько же похожа на песню днепровских лыщарей, сколько похож я на китайского богдыхана.

– А что же чай и комната? – спросил я, закрывая книгу.

– Зараз, – сказал торчащий в углу рыжебородый жидок. И он вышел в другую комнату.

«Ах вы, проклятые жида! Я уже целую книгу прочитал, а они и не думали готовить чаю!»

Через минуту жидок возвратился и снова притаился в углу.

– Что же чай? – спросил я.

– Зараз закипит, – отвечал жидок.

– Чего же ты тут переминаешься с ноги на ногу? – спросил я у услужливого жидка.

– Я фактор. Может быть, пан чего потребует, то я все зараз для пана доставить могу, – прибавил он, лукаво улыбаясь.

– Хорошо! – сказал я. – Так ты говоришь, что все, чего я пожелаю?

– Достану все, – отвечал он не запинаясь.

«Какую же мне задать ему задачу, так что-нибудь вроде пана Твардовского?» – спросил я сам себя и, подумавши, сказал ему.

– Ты знаешь английский портер под названием «Браунстут Берклей Перкенс и компания»?

– Знаю, – отвечал жидок.

– Достань мне одну бутылку, – сказал я самодовольно.

– Зараз, – сказал жидок и исчез за дверью.

«Ну, – подумал я, – пускай поищет. Теперь этого вражеского продукта и в самой столице не достанешь, не только в Белой Церкви». – Не успел я так подумать, как является мой жидок с бутылкой настоящего «Браунстута». Я посмотрел ярлык на бутылке и только плечами двинул, но виду не показал, что это меня чрезвычайно удивило. Жидок поставил бутылку на стол и как ни в чем не бывало стал себе по-прежнему в углу и только пот с лица утирает полою своего засаленного пальто.

Чудотворцы же эти проклятые факторы!

– Скажи ты мне истину, – сказал я, обращаясь к фактору, – каким родом очутился английский портер в вашей Белой Церкви?

– Через наш город, – отвечал жидок, – возят из Севастополя пленных аглицких лордов – так мы и держим для них портер.

– Дело, – сказал я, – значит, ящик просто отпирался.

– Не прикажете ли еще чего-нибудь достать вам на ночь? – спросил фактор.

– Подожди, братец, подумаю, – сказал я. «Какой бы ему еще крючок загнуть, да такой, чтобы проклятый жид зубами не разогнул?» – подумал я, и, подумавши хорошенько, вот какой загнул я ему крючок, истинно во вкусе Твардовского. – Вот что, любезный чудотворец, – сказал я, обращаясь к мизерному Меркурию. – Если уж ты достал мне портеру... Пойди, у вас есть в городе книжная лавка?

– Книжной лавки нет в городе, – отвечал он.

– Хорошо, так достань же мне новую, неразрезанную книгу, и тогда я поверю, что ты все можешь достать.

– Зараз, – сказал невозмутимо рыжий Меркурий, поворотился и вышел.

II

– Эй, хозяин! Что же чаю? – сказал я громче обыкновенного, обращаясь к растворенной двери.

– Зараз, – откликнулся из третьей комнаты жидовский женский голос.

– А чтобы вам своего мессии ждать и не дождать так, как я не дождусь вашего чаю!

Не успел я проговорить эту гневную фразу, как в дверях показалась кудрявая черноволосая прехорошенькая жидовочка, но такая грязная, что смотреть было невозможно.

– Где же чай? – спросил я у запачканной Гебы.

– У нас чаю нет, а не угодно ли...

– Как нет! Где хозяин? – прервал я запачканную Гебу.

– Хозяин пошли спать, – отвечала она робко.

– Если чаю нет, так что же у вас есть? – спросил [я] ее с досадой.

– Фаршированная шука и...

– И больше ничего, – прервал я ее.

А меня прервал вошедший в комнату фактор с двумя новенькими книгами в руках. Я изумился, но сейчас же пришел в себя и велел подать шуку и потом уже обратился к фактору, равнодушно взял у него книги. Смотрю, – книги действительно новые, неразрезанные. Я хотя и привык, как человек благовоспитанный, скрывать внутренние движения, но тут не утерпел, ахнул и назвал жидка настоящим слугою пана Твардовского. Жидок улыбнулся, а я на обертке прочитал: «Морской сборник» 1855 года, № 1. Я еще раз удивился и, обратясь к фактору, сказал:

– Скажи же ты мне, ради самого Моисея, какую ты силою творишь подобные чудеса? И расскажи, как и от кого достал ты эти книги?

– О!.. Эти книги дорого стоят, если рассказать вам их историю, – сказал жидок и провел по голове пальцами, как бы поправляя ермолку.

– Сослужи же мне последнюю службу, – сказал я ласково своему рыжему Меркурию, – расскажи ты мне историю этих дорогих книг.

Жидок замаялся и почесал за ухом. Я посулил ему злотый на пиво, это его ободрило, он вежливо попросил позволения сесть и, почесавши еще раз за ухом, рассказал мне такую драму, что если бы не его жидовская декламация, то я непременно бы расплакался. Содержание драмы очень просто и так обыкновенно, что поневоле делается грустно. Происшествие такого рода.

Из Севастополя в Смоленскую губернию ехал какой-то флотский офицер, бог его знает, раненый ли или просто больной, с двумя малютками детьми и с женой. Дело было зимой или в конце зимы; дорога так его, бедного, измучила, что он принужден был остановиться в Белой Церкви на несколько дней – отдохнуть. Болезнь усилилась и положила его в постель. Что им оставалось делать? Сидеть в жидовской грязной и дорогой хате и дожидаться какого-нибудь конца. Началась распутица, все вздорожало. Своих денег не было, расходовались прогоны. И прогоны израсходовались, а больной не вставал. Какой-то проезжий медик навестил его и только покачал головой, и ничего больше. Рецепт не для чего было писать, потому что в местечке какая аптека? На другой день после визита медика больной умер, оставив свою вдову и детей, что называется, без копейки. Что оставалось ей, бедной, делать в таком горьком положении? Она написала письмо родственникам мужа в Смоленскую губернию, а в ожидании ответа начала продавать за бесценок мужнин гардероб и иные бедные крохи, чтобы удовлетворить самую крайнюю необходимость. Услужливый за деньги жид, если узнает, что у вас наличных – и в виду не имеется, то он вам и воды не даст напиться, а о хлебе и говорить нечего. А впрочем, русский человек сделает то же, с тою только разницею, что побожится и перекрестится, что у него все было и все вышло; а денежному гостю подаст все, что бы тот ни просил, и принесет все требуемое перед вашим же носом. При слове «деньги» редкий из нас – не жид. Бедная вдова продавала все, даже необходимое, если оно имело хотя какую-нибудь цену в глазах покупателя жида. Книги, которые мне принес всеведущий фактор, были взяты у нее и, вероятно, за бесценок. В хозяйстве вдовы они были только лишней тяжестью, да и покойник, как видно, не высоко ценил печатную мудрость: он книги даже не разрезал. Ну, да как бы то ни было, только я был изумлен и обрадован таким беспримерным явлением.

– Что же ты заплатил за книги? – спросил я фактора, разрезывая первый номер.

– Два карбованца – меньше не отдает, – отвечал он запинаясь.

«Врешь, сребролюбец Иуда», – подумал я, а уличить его нечем.

– Хорошо, – говорю я ему, – деньги я отошлю с моим мальчиком завтра, ты только покажешь ему квартиру.

– Я уже деньги заплатил, она в долг не поверила, – сказал он, обтирая рукой свою грязную шляпу.

– Жаль, я больше полтинника тебе не дам за книги.

– Зачем же вы испортили книгу? – сказал он почти дерзко.

– Чем же я ее испортил? – спросил я.

– Всю ножом изрезали, теперь она не возьмет книги назад. За мое жито мене и быто, – проговорил он едва внятно и замолчал.

– Утро вечера мудренее, – сказал я ему. – Ложись спать, а завтра рассчитаемся. – Он поклонился и вышел.

По уходе фактора я разбудил Трохима, который спал себе сном невинности около чемодана во всем своем промокшем облачении. Велел я ему полуразоблачиться и, войдя в другую комнату сказал довольно громко, почти крикнул:

– А что же шука?

– Зараз, – послышался прежний женский голос, и через минуту явилась та же самая курчавая запачканная жидовочка.

– Что шука? – повторил я.

– Уже готова, только на стол поставить, – проговорила жидовочка.

– Ставь же ее на стол скорее, да не забудь и водку поставить.

Жидовочка ушла и вскоре опять явилась со шукою и с осьмиугольным штофом с какой-то буро-красноватой водкой.

Я принялся за шуку и, несмотря что она крепко была приправлена перцем и гвоздикой, с таким аппетитом убирал ее, что если бы Трохим провозился с своим разоблачением еще хоть

минуту, то застал бы одну голову да хвост; но он поторопился и захватил еще порядочную долю шуки. После шуки спросил я у запачканной Гебы, нет ли еще чего-нибудь заглушить перец и гвоздику. Она отвечала, что ничего они больше сегодня не варили. Я велел подать графин воды, стакан и расположился на скрипучей, вроде дивана, деревянной скамейке, а Трохим, окончивши шуку, помолился Богу и тоже расположился на каком-то войлоке у печки, на полу. Тишина водворилась в жидовской обители. Снявши со свечи, я начал перелистывать «Морской сборник» № 1-й.

III

Перелистывая машинально книгу, я начал было дремать и поднял уже руку за щипцами, чтобы погасить свечу и заснуть, а случилось не так. Я нечаянно взглянул на реестр увечных, выздоровевших, но неспособных продолжать службу нижних чинов; я стал читать, и что же я прочитал? Прочитал я то, чего не прочитывал ни в одной печатной книге, а я их таки немало прочитал.

Дело вот в чем. В присутствии комитета раненых были спрошены эти увечные бедняки, какую кто из них пожелает себе награду за верную службу престолу и отечеству. Бедняки сначала отказались от всякой награды, только чтобы их отпустили на родину. Комитет настаивал, чтобы они, кроме этого, требовали себе всякий, что ему нужно. Иные попросили денежной награды, другие – чтобы освободить детей их из кантонистов. А последний из них, молодой матрос, со слезами на глазах просил, чтобы освободили сестру его родную от крепостного звания. Великодушная просьба этого простого человека меня поразила, я дальше не мог читать, закрыл книгу и погасил свечу.

Мне, однако ж, не спалось. Матрос расшевелил мое воображение и отогнал услужливого Морфея. Простое и самое естественное дело простого человека рисовалось в моей душе яркими, лучезарными красками. Должно быть, я сильно обнищал сердцем, когда меня так поразило это, по-видимому, обыкновенное явление? Неужели вместе с цивилизацией так плотно к нам прививается эгоизм, что мы, т. е. я, едва верим в подобное бескорыстие? Должно быть, так. А по-настоящему не должно быть так; образование должно богатить, а не окрадывать сердце человеческое. Но, к несчастью, это теория. Подобное ни к чему не ведущее рассуждение не давало мне заснуть, и чем глубже я входил в эти рассуждения, тем возвышеннее, благороднее казался мне поступок увечного бедняка матроса. Он отдал все сестре, а себе ничего не оставил, кроме суммы и костыля. Как хотите, а подвиг не совсем обыкновенный. «Что, если бы, – подумал я, – удалось мне этот простой сюжет облачить в форму героической поэмы или... Но нет, никакая другая форма поэзии, кроме поэмы, нейдет этому сюжету. Поэма или ничего». И я начал сочинять поэму.

Во дни минувшие, во дни невинности моей, как говорит поэт, и я втихомолку кропал стишонки, да и кто из нас их не кропал? Следовательно, мне это рукоделье было несколько знакомо. Оставалось придумать ход действий и обстановку; а место действия – страшный четвертый бастион в Севастополе, еще страшнее лазарет там же и, в заключение, укрытое цветущими вишневыми садами малороссийское село, и среди улицы этого очаровательного села встречает свободная сестра своего великодушного калеку брата. Канва готова – осталось подобрать тени, и за работу. Я уже начал было и тени раскладывать, не теряя из виду общего эффекта. Слушаю, в комнате будто что-то шепчет. Не бредит ли Трохим во сне после жидовской шуки? Прислушиваюсь, действительно Трохим, только не бредит, а наяву про себя шепчет:

– А... хочется пить, а не хочется встать.

Минуту спустя он еще раз повторил громче свое желание, а через минуту он проговорил его почти вслух:

– Трохиме, – сказал я громко. Трохим молчит. – Трохиме! – повторил я тем же тоном.

– Чого? – отозвался он как бы спросонья.

– Подай мне графин с водою.

Он глубоко и продолжительно вздохнул, лениво поднялся с постели, отыскал впотьмах графин и подал мне.

– Напейся сам, – сказал я ему, – а я не хочу пить.

Трохим напился, поставил графин на место и проговорил:

– Покорно вам благодарю.

– То-то ж, дурню, – сказал я ему вместо наставления, но он едва ли это наставление слышал, потому что спал.

Оригинал порядочный этот Трохим. Я опишу его когда-нибудь в другом, более приличном месте, а теперь буду продолжать собственное похождение.

Я принялся было опять за прерванную нить своей поэмы, но Морфей-приятель задернул занавес, и едва зримая и великолепная декорация скрылась от моих очей. На другой день очень рано мы оставили Белую Церковь. Это потому, что я заснул уже на рассвете; сначала матрос не давал мне покою, а потом жидовские блохи. Дорога была по-вчерашнему скверная, если не хуже: от продолжительного дождя густая грязь превратилась в настоящую кашу, как выразился недовольный Трохим. Дорога, впрочем, меня мало беспокоила, я ее почти не замечал. Меня, если можно так выразиться, поглотила моя поэма; я все устанавливал подробности действия и так увлекся этими подробностями, что начал уже стихи импровизировать. Импровизация моя была прервана не самым обыкновенным происшествием. Кони наши остановились перед берлином или дормезом, по самый кузов зарезавшимся в грязь. Четыре пары добрых волов едва-едва двигали его вперед, а почтовая четверка, вся в мыле, отдыхала по ту сторону плотины. «Не вчерашняя ли это барыня с дочерью с таким комфортом путешествует?» – спросил я сам себя и нечаянно взглянул на Трохима. У него была такая кислая, недовольная рожа, что я расхохотался. Он как будто бы не замечал моего хохота и оттого делался еще смешнее.

– О чем это вы так задумались, Трохим Сидорович? – наконец спросил я его шутя. Трохим мой вздохнул, поворотился лицом к дормезу и проворчал что-то похожее на брань.

– Не «Отче наш» ли вы читаете? – спросил я его, едва удерживаясь от смеху.

– «Отче наш», – проговорил он сквозь зубы.

– За чью ж это душу? – спросил я его смеясь.

– За чертову, – отвечал он тем же тоном и, оборотясь ко мне, сказал: – Правду сказал жид, у которого мы ночевали, что вы не похожи не только на пана, не ходите даже на простого шляхтича голопуз... – Последнего слова он не договорил и опять отвернулся от меня.

Так вот где причина, почему благообразный жид вчера и сегодня не ухаживал за мною, как это обыкновенно делают они, особенно содержатели заезжих домов и так называемых уездных трактиров; а я уже думал, что бы значило, что хозяин так равнодушно принял меня, так равнодушно, что не почел нужным попотчевать даже чаем, а вот он где секрет. Интересно бы знать, за кого он меня принял?

– За кого же он меня принял? Не говорил тебе жид? – спросил я у Трохима.

– Так, говорит, ни то ни се, и еще прибавил какое-то слово по-своему. Я не понял, а верно, что-нибудь скверное, потому что, сказавши это слово, он плюнул:

– Ах он проклятый жид! Еще и плюнул! Ну а ты как думаешь, Трохиме, похож ли я на пана, хотя сбоку? – спросил я его шутя.

– Ни сбоку, ни спереду, – отвечал он не задумавшись и, отворотясь от меня, продолжал вполголоса: – Не только пан, порядочный мужик в такую погоду собаки из хаты не выгонит, а он поехал в гости – очень нужное дело! Да еще хочет, чтобы его паном жида величали. Небось, жида знают, как кого назвать.

Последнее слово он проговорил шепотом. Я внутренне смеялся досаде озлобленного Трохима. В это время сзади нас послышался почтовый колокольчик. Я оглянулся: в полверсте за нами тащилась по грязи тройка, такая же, как и наша.

– Слава тебе Господи! – вскрикнул протяжно Трохим и перекрестился.

– А что? – спросил я его.

– Выехали из грязи, – сказал он весело.

Дормез, действительно, стоял уже по ступицы в грязи, а волю, совершивши свой подвиг, попарно вылезали из болота на более сухое место. Вдали слышимый колокольчик запел уже у меня за плечами. Я снова оглянулся и, кроме тройки и ямщика, увидел стоящую в телеге фигуру в черной бурке и в каком-то мудреном картузе. Через минуту тройка, телега и стоящая в ней фигура очутились у самых окон дормеза. Фигура на минуту наклонилась к окну, как бы спрашивая о здоровье закупоренных в подвижной светлице красавиц. Потом фигура в бурке и картузе приподнялась и хриплым голосом стала кричать на ямщиков, чтобы подавали скорее лошадей. Я занялся фигурой, Трохим не знаю чем занимался, ямщик накладывал табак в свою носогрейку, а кони, опустив морды в самую лужу, о чем-то призадумались.

– Что же ты не трогаешь? – сказал я ямщику.

– А я думал, – сказал ямщик, не вынимая трубки изо рта, – что мы за ними и поедем до самой станции.

– Ах ты, хохол! Как ты скверно думал. Трогай-ка лошадей проворнее! – сказал я. И мы оставили фигуру в бурке и дормез. Когда мы проезжали около дормеза, я заглянул в окно, и передо мной мелькнула необыкновенно прекрасная женская головка, повитая чем-то черным. У меня как будто бы молотком ударило в сердце, и я уже до самой станции ничего не видел, кроме очаровательной головки.

– Самовар есть? – спросил я у станционного смотрителя, вылезая из телеги.

– Есть, – отвечал он.

– А коли есть, так прикажите его нагреть. – И, обращаясь к Трохиму, прибавил: – Делать нечего, Трохиме, чемодан нужно развязать, а то мы пропадем без чаю.

– А разве жидовский вам не понравился? – проговорил он иронически, вынимая чемодан из телеги.

Правду сказать, так чай был только предлогом, а настоящим делом-то была волшебница, закупоренная в подвижном тереме. Мне ужасно хотелось еще хоть мельком взглянуть на эту дивную головку. Казалось, что я рассчитал недурно. Они непременно войдут в комнату, пока им лошадей перепрягут, и я... все случиться может, буду иметь счастье предложить ей стакан чаю. В дороге что за церемония! Пока я так предполагал, самовар кипел уже на столе, и Трохим вытирал черный глиняный чайник и зеленоватые кабачные стаканы. Ну как же я в таком стакане предложу ей чаю? Срам и... еще что-то я хотел подумать, как растворилась дверь и в комнате явилась фигура в бурке и в мудреном картузе. Не снимая картуза, фигура хриплым басом спросила стоявшего пред ней смотрителя:

– Есть ли лошади?

– Есть, – отвечал почтительно смотритель.

– Мне нужен осмерик, – проговорила фигура.

– И осмерик будет, – отвечал смотритель тем же тоном.

Фигура бросила подорожную на стол и, заметя третье лицо, т. е. меня, приподняла картуз и кивнула головой. Я отвечал тем же, только немного скромнее, и предложил фигуре стакан чаю с дороги. Фигура не отказалась, пожалела только, что даже в Киеве нельзя достать порядочного араку. Я не противоречил, и разговор наш тем кончился. Фигура, не допивши стакан чаю, скрылась за дверью. Так как этот субъект играет или будет играть не последнюю роль в нашем повествовании, то не мешает его очертить с некоторыми подробностями.

«Отставной ротмистр гвардии, помещик Курнатовский» – так гласила подорожная, которую я прочитал не без любопытства.

О подробностях фигуры господина гвардии отставного ротмистра не могу сказать ничего положительно, потому что она скрывалась под буркой. А лицо? Лицо довольно обыкновенное, особенного ничего не выражает, такие лица можно встретить на конной ярмарке в Бердичеве или в Полтаве, между ремонтерами. Нос большой, довольно аляповатый и довольно красный, глаза тоже красные, навывкате. Губы толстые, особенно нижняя, усы искрасна-черные, большие, о волосах на голове тоже ничего положительно не могу сказать, потому что он не снимал своей затейливой фуражки. Вот вам и вся недолга. Если всмотреться в него попристальнее, так, может быть, нашлись бы какие-нибудь особенности. Но я не успел попристальнее всмотреться и подробнейшее окончание портрета оставляю до следующего сеанса.

– Опять поехали волами! – сказал Трохим, входя в комнату.

– Вели долить самовар и прибавить угольев, – сказал я ему и вышел из комнаты – Во что бы то ни стало, а я ее дождусь, – говорил я сам себе, глядя на бесконечную плотину, по которой четыре пары волов едва двигали знакомый мне дормез. Час, если не больше, дождался я заветного дормеза, наконец остановился он перед воротами почтовой станции.

– Не угодно ли будет, – не совсем смело сказал я отставному ротмистру, – вашим дамам выпить чаю с дороги?

Ротмистр кивнул головой и подошел к окну экипажа. Через минуту огромный лакей разложил ступени, открыл дверцы и из подвижного терема высадил... кого бы вы думали, кого? Вместо прекрасной волшебницы – бабу-ягу, закутанную во что-то черное. «А чтобы ты провалилась!» – подумал я. А лакей между тем сложил ступеньки и тихонько притворил дверцы.

– А что же панна Гелена? – спросил по-польски старуху ротмистр.

– Спит, – отвечала старуха и поплелась в комнату, поддерживаемая огромным гайдуком.

Ротмистр закурил колоссальный трубукус и пошел на конюшню посмотреть, каких ему лошадей заложат, а я посмотрел грустно на экипаж, как лисица на виноград, и отправился скрепя сердце потчевать старуху чаем. Напрасно я беспокоился, она уже сама себя потчевала, и когда я взошел в комнату, она даже и не взглянула на меня. Я сказал Трохиму, чтобы он налил себе стакан чаю и укладывал чемодан. Старуха тогда взглянула на меня и отвернулась, а я вышел из комнаты, как бы не замечая ее взгляда. Лошади для меня были готовы. И я, дождавшись Трохима и чемодана, посмотрел еще раз на облепленный грязью дормез, сел в телегу и уехал в полной надежде увидеть таинственную красавицу на следующей станции, т. е. в городе Тараще. Тараща – город! Не понимаю, зачем дали такое громкое название этой грязной жидовской слободе. Наверное можно сказать, что покойный Гоголь и мельком не видал сего нарочито грязного города, иначе его родной Миргород показался бы ему если не настоящим городом, то по крайней мере прекрасным селом. В Миргороде хотя и не пышной растреллевской или тоновской византийской архитектуры, а все-таки есть беленькая каменная церковь. Хоть небольшое белое пятно на темной зелени, а оно делает свой приятный эффект в однообразном пейзаже. В Тараще и этого нет. Стоит на пригорке себе над тухлым болотом старая темная деревянная церковь, так называемая козацкая, т. е. постройка времен козачества. Три осьмиугольных конических купола с пошатнувшимися черными железными крестами, и ничего больше. И все это так неуклюже, так грубо, печально, как печальна история ее неугомонных строителей. Едва-едва к вечеру дотащились мы до сего так называемого города. О дальнейшем следовании и думать было нечего. О дормезе и спящей красавице тоже. Следовательно, я могу смело распорядиться одной-единственной комнатой в почтовой станции. Так и сделано. Трохиму предоставил я распорядиться насчет ужина. Но как усердно ни распорядился Трохим, а ужин наш ограничился парюю сушеных карасей, ломтем черного хлеба и рюмкой вонючей водки. Трохим был, как говорится, в своей тарелке и подтрунивал над *чернечю вечерюю*, – так называл он наш ужин. Трунил он собственно не над ужином, а надо мной, что, дискать,

как приятно путешествовать во время такой прекрасной погоды. Мне самому было досадно, но я молчал и старался не думать о погоде, а о чем-нибудь другом. Другое мне, однако ж, плохо давалось. Я вспомнил о матросе, и – вообразите мою досаду: я вспомнил, что мы забыли «Морской сборник» в Белой Церкви. Спрашиваю у станционного смотрителя, не найдется ли из ямщиков охотник съездить верхом в Белую Церковь. Охотник нашелся, я рассказал ему, в чем дело. Он запросил у меня за поездку три целковых, я не торговался и дал задаток. Ямщик тотчас же отправился в дорогу; а мы с Трохимом, помолясь Богу, привели утомленные тела свои в горизонтальное положение. Он на скамейке, а я тоже на скамейке, обгороженной с трех сторон чем-то вроде перил, что делало ее похожей на чухонские сани.

IV

«Морской сборник» таки не дешево мне обошелся, а интересного в нем, я думаю, один только и есть матрос; впрочем, я еще и не просмотрел его хорошенько. Но дело не в том, интересен он или нет, а в том дело, что я с собою взял только две или три книги, и то не знаю какие. Трохим у меня и по этой части распорядился. А нужно вам сказать, что книги для меня, как хлеб насущный, необходимы. И две недели, которые я предполагал посвятить моим родичам, без какой-нибудь книги покажутся бесконечными. Поэтому-то я и дорожил «Морским сборником», и еще потому, что родич мой, хотя и не без образования человек, но книги боялся, как чумы, и, следовательно, на его библиотеку нечего было рассчитывать. Станным и ненатуральным покажется нам, грамотным, человек, существующий без книги! А ежели всмотреться попристальнее в этого странного человека, то он покажется нам самым естественным. Родич мой, например, начал свое образование в каком-то кадетском корпусе, а окончил его в каких-то казармах и в лагере. Когда же и где ему можно было освоиться с книгою? Штык и книги – самая дикая дисгармония. И родич мой, выходит, самый натуральный человек, и тем еще натуральнее, что он не притворяется читающим, как делают это другие, ему подобные, как, например, делает его благоверная половина, а моя прекрасная родичка, или, яснее, кузина, у которой вся библиотека состоит из «Опытной хозяйки», переписанной каким-то не совсем грамотным прапорщиком. А как занесется о литературе, так только слушай. Другой, пожалуй... да что тут говорить про другого, я сам сначала уши развесил, да потом уже спохватился. Я познакомлю вас, мои терпеливые читатели, хоть слегка с моей кузиной-красавицей (правда, не первой молодости). С такими субъектами, как она, не мешает иногда познакомиться. Сам я познакомился с нею, когда она была еще невестой моего родича. И правду сказать, чуть-чуть было не втюрился по уши – извините за выражение, другого не мог придумать, – тогда она была восхитительно хороша. А это известно: если женщина восхитительно хороша собой, то значит, что она и добра, и умна, и образованна, и одарена ангельскими, а не человеческими свойствами. Это уж так водится. А на самом-то деле, чем женщина красивее, тем более похожа она на движущуюся прекрасную, но бездушную куклу. Это я говорю по собственному многолетнему опыту; красавицы только в романах олицетворенные ангелы, а на деле они автоматы или просто гипсовые фигурки.

И кузина моя во время оно казалась мне ангелом кротости и образцом воспитания. Я не волочился за ней открыто – это не в моей натуре, – но втайне боготворил ее. Это общая черта антивоенного характера. Вскоре она вышла замуж за моего родича и с ним уехала в деревню. Я поохладил свою глубоко-робкую любовь двухлетним несвиданием и потом уже видался с нею довольно часто, но не как пламенный обожатель, а просто как старый знакомый, и притом родственник. Тут-то и стал я наблюдать отчетливее за моим бывшим кумиром. Как-то раз зашла речь (это было в деревне) о германской поэзии. Кроме Гете и Шиллера она с восторгом говорила о Кернере; мне это понравилось, я и выписал сдуру экземпляр Кернера да и послал ей в деревню. Через год или больше случилось мне завернуть к ним мимоездом, и что же?

Мой Кернер валяется под диваном, и даже неразрезанный. Это меня заставило усомниться в любви к немецкой поэзии моей красавицы кухни. Для чего же она так непритворно восхищалась этим Кернером? Неужели эти, сквозь слезы, восклицания была ложь? Увы, да! Она, как я впоследствии узнал, боготворила все, что имело какое-нибудь подобие военного, начиная от скромного ученого кантика до великолепного кавалерийского штандарта, а об аксельбантах и говорить нечего: аксельбанты были для нее выше всякого обожания. Так извольте видеть, в чем секрет: при берлинском издании сочинений Кернера, которое она где-то видела, приложен портрет поэта в военном мундире, а мой экземпляр был другого издания и без портрета, так она его и швырнула под диван. Вот вам и секрет. Книги она просто ненавидит, и если бы была какой-нибудь маркграфиней во времена Гутенберга, то не задумалась бы возвести знаменитого типографа на костер.

Это верно. Зато озолотила бы изобретателя тузов, королей, дам, валетов и т. д., словом, изобретателя карт; она воздвигла бы кумир и молилась ему как Богу – просветителю человеческого рода. Из какого болота вытекает и так широко разливается эта топорная, безобразная страсть в мягком, нежном сердце женщины? Вопрос не головоломный: из болота бездействия и из тины нравственной пустоты. Врожденных таких отвратительных способностей я не признаю даже в ремонтере. У нас говорят про пьяницу вора и тому подобного художника, что он, бедненький, уж с этим и родился. Пренаивное понятие! И если бы спросить и у знаменитого череповеда Лафатера, то и он, положа руку на сердце, сказал бы «Пренаивное понятие!» Играть самому в ералаш, в носки и прочая – тут есть еще удовольствие, разумеется, удовольствие не совсем эстетическое, но все-таки удовольствие: по крайней мере длинные минуты праздной жизни делаются короче. Но какая нравственная радость просидеть у стола игроков до трех часов пополуночи и безмолвно считать выигрыш и проигрыш безмолвных картежников? Совершенно не понимаю! А прекрасная кухня моя находит в этом созерцании высокое наслаждение – она готова неделю не есть, не пить, только бы сидеть автоматом и смотреть, как играют в ералаш или даже в три листика; а если ей самой удастся составить партию для ералаша, то она готова, как Илья Муромец, сиднем просидеть за картами месяцы и годы без куска хлеба и стакана воды. Неужели так тлетворно действует на пустую красавицу отсутствие толпы обожателей, ее единой насущной пищи? Действительно так – по крайней мере я другой причины не знаю. Красавицы в обществе заняты делом, т. е. кокетничеством, а дома, да еще и в деревне, что ей прикажете делать? Не румяниться же и белиться для своего медведя-мужа. Все это ничего! Все это только отвратительно, а вот что горько. У моей прекрасной кухни растет прекраснейшее дитя, девочка лет четырех или около этого, резвая, милая, настоящий херувим, слетевший с неба; и херувим этот, это прекраснейшее создание отдано в руки грязной деревенской бабы. А нежная мамаша шнурует себе да припекает папилютки, даже на затылке, и знать больше ничего не хочет. Однажды привез я для Наташи (так называется дитя) азбуку и детскую естественную историю с картинками. Надо было видеть, с каким недетским восторгом она любовалась моим подарком и с каким любопытством расспрашивала она свою красавицу мамашу значение каждой картинки; но мамаша, увы! обращалась или ко мне, или просто посылала ее к няньке играть в куклы. Мне стало грустно, и я не совсем издали повел речь об обязанностях матери; кухня сначала слушала меня, но когда я вошел поглубже в предмет и начал живо и рельефно рисовать перед ней эти священные обязанности, она вполголоса запела: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан». – «Хоть кол на голове теши», – подумал я и чуть-чуть было не выкинул штуки, т. е. хотел плюнуть и уйти; однако ж удержался и только закурил сигару и вышел в другую комнату.

Зачем они детей родят, эти амфибии, эти бездушные автоматы? С какой целью они выходят замуж, эти мертвые красавицы? Чтобы сделать карьеру, как выражается моя кухня; а дети – это уже необходимое следствие карьеры, и ничего больше. Бедные бездушные матери! Вы свой долг, свою священную обязанность передаете наемнице гувернантке и еще хуже – дере-

венской неграмотной бабе. И диво ли после этого, что порода хорошеньких кукол у нас не переводится. Да и будет ли когда-нибудь конец этой породе? Едва ли, она страшно живуча на нашей тучной заматерелой почве.

Но не пора ли оставить мою темную красавицу родственницу в покое и обратиться к более светлым предметам?

На другой день поутру ящик с книгами явился передо мной как лист перед травой. Я расплатился с ним окончательно и спросил его, не видал ли он на дороге берлина. «Ночую посеред гребли в Ковшоватий», – отвечал он и вышел. «Значит, я ее более не увижу», – подумал я и велел старосте запрягать лошадей. Через несколько минут лошади были готовы, книги в чемодан спрятаны, и, помолвившись Богу, мы благополучно отправились в дорогу.

«Странный, однако ж, человек этот сочинитель, – подумает благосклонный читатель. – Ругает на чем свет стоит свою родственницу, а сам к ней в гости едет – тут что-то да не так». – «Совершенно так», – отвечаю я благосклонному читателю. И по моему мнению, так и следует. «Хлеб-соль ешь, а правду режь», – говорит пословица, и пословица говорит благородно. Если бы мы, не только сочинители, но вообще люди честные, не смотрели ни на родство, ни на покровительство, а указывали пальцем прямо, благородно на шута-родственника и на грабителя-покровителя, то эти твари по крайней мере днем бы не грабили и не паясничали. «Да это невозможно, – скажут честные люди вообще, а сочинители в особенности. – Какое нам дело до его хозяйства, до его средств и источников? Он ведет себя хорошо, безукоризненно хорошо, и притом покровительствует даже... даже художникам. Чего ж нам более?

А родственник?... Да бог с ним, если он приличный человек, – пускай себе паясничает на здоровье, а нам какое дело. Если же он вдобавок и богатый человек, это дело другого рода, тут даже извинительно отчасти и себе поподличать; тут даже можно и очень поподличать, это не бог знает какой грех. А между тем если уж на большее нельзя рассчитывать, так по крайней мере можно лишний раз хорошенько пообедать». То-то и есть, что все мы более или менее лисицы с пушком на рыльце. «Все это так. Все это в порядке вещей, – скажет благосклонный читатель. – Да как же ехать в гости за двести верст к людям, которые не нравятся? Ну, а если она когда-нибудь да прочитает этот ядовитый пасквиль, эту желчную правду, тогда что?» У всякого свой вкус: во-первых, я еду для прекрасного весеннего сельского пейзажа, а не для карикатурных фигур на первом плане этого прекрасного пейзажа; а насчет второго замечания я совершенно спокоен. Если бы даже я посвятил сие нехитрое творение моей милой кухне и даже поднес бы ей экземпляр в сафьяновом великолепном переплете, то, я уверен, и тогда бы она скорее употребила его на папильотки, чем удосужилась бы прочесть сие неложное изображение собственной персоны. Она... да ну ее с богом! Разносился я с своей красавицей кухней как дурень с писаной торбой. Правда, что она весьма интересный, я не говорю редкий, сюжет для наблюдателя; но... пора знать и честь.

Только к вечеру дотащились мы до *Барантоля*. Переезд сам по себе небольшой, но, кроме грязи, место довольно гористое. Во время этого, на удивление медленного, переезда я занимался моим героем, т. е. матросом, и по временам совершенно против воли предугадывал, кто такая была обитательница подвижного терема, т. е. рыдвана. Жена ли она усатого ротмистра? или дальняя родственница? или же просто красавица, взятая напрокат по кавалерийскому обычаю? Решить было трудно, и потому я старался ее забыть. Но она, как чертенок, вертелась в моем воображении и прерывала стройный ход моей задушевной поэмы.

Трохим советовал заночевать в *Барантоле* и хоть кусок хлеба съесть мы действительно в продолжение дня ничего не ели. Я и спросил смотрителя, нет ли чего перекусить? Оказалось, что перекуски никакой не было. «Потому, – прибавил смотритель, – что теперь Страстная неделя». – «Резон», – подумал я и велел поставить самовар, но и самовара не оказалось. «Хоть хлеба и воды дайте нам», – сказал я равнодушному смотрителю. Он молча отворил висевшее на стене что-то вроде шкафа и вынул оттуда тоже что-то вроде пирога. Это был черствый *кныш* с

постным маслом. Трохим не без труда отломил кусок *кныша*, поморщился и начал есть, предлагая мне остальное, но я отказался. Голод меня, не знаю почему, не беспокоил. Предоставив распоряжение *кнышом* Трохиму, я велел вопреки ему, – что я редко позволял себе, – запрягать лошадей. Не успел он первого куса дожевать, как лошади были готовы. Не без негодования посмотрел он на меня, спрятал остальной кусок за пазуху, лениво вскарабкался на телегу, и мы пустились дальше. Вскоре настала ночь, тихая, теплая и темная. Удивительная ночь! Красноватые звезды казались крупнее обыкновенного и как-то особенно прекрасно горели на темном фоне. Очаровательная ночь! Таким очаровательным ночам обыкновенно предшествует продолжительный весенний дождь, а это не редкость в Малороссии. Жаль, что луны не было. А люблю я ее, полную, круглую, румяную, перерезанную длинными золотыми тучками и в каком-то обаятельном тумане поднимающуюся над едва потемневшим горизонтом. Как ни прекрасна, как ни обаятельна лунная ночь в природе, но на картине художника, как, например, Калама, она увлекательнее, прекраснее. Высокое искусство (как я думаю) сильнее действует на душу человека, сильнее, нежели самая природа. Какая же непостижимая божественная тайна сокрыта в этом деле руки человека, в этом божественном искусстве?

Творчеством называется эта великая божественная тайна, и... завидный жребий великого поэта, великого художника. Они братья наши по плоти, но, вдохновенные свыше, уподобляются ангелам Божиим, уподобляются Богу. И к ним только относятся слова пророка, их только создал Он по образу Своему и по подобию, а мы – толпа безобразная, и ничего больше!

Догадливый почтарь или ямщик вместо русской телеги, в которой и самый отчаянный фельдъегерь едва ли вздремнет, заложил нам бричку, вроде *нетычанки*, длинную и широкую, а вдобавок навалил в нее сена. Трохиму это так понравилось, что он, не дожевав своего кныша, заснул, с куском в руке, сном свежей юности и непорочности. Немного погодя и аз, многогрешный, последовал его мудрому примеру.

V

Как мы проехали эту станцию, кроме ямщика и лошадей, никто из нас не знает. Я проснулся на рассвете у самой *царины*, или выгона, местечка *Лысянки*, а Трохима я разбудил уже перед дверьми почтовой станции. Так как конец моего путешествия был уже очень не в далеком расстоянии – не принимая, разумеется, в расчет грязь и полуверстовую греблю, – то я и рассудил, что лучше немного отдохнуть в *Лысянке* и потом уже пуститься дальше. До *Будищ*, т. е. до резиденции моего родича, оставалось версты две, не более. Долго ли их проехать? Час, а много два – так я рассчитывал. Но как я сомневаюсь во многом, то и в этом расчете усомнился, и, чтоб определить это предположение точнее, я спросил Трохима, что он на это скажет? А он, подумавши, сказал, что если мы поедem сейчас же, то приедem в Будищане ранее полудня.

– О дна гребля чего стоит! – прибавил он. Я согласился с его тонким замечанием и попросил смотрителя дать мне лошадей в сторону, т. е. от почтовой дороги. Он охотно согласился, разумеется, за двойные прогоны, считая прогоны не за две версты, как я думал, а за двадцать с чем-то, т. е. до следующей станции, до Звенигородки Он не только меня, но даже Трохима уверил, что ему совершенно все равно. Делать нечего, я согласился. На деле оказалось, что и Трохим прав, сказавши, что мы раньше полудня не будем в *Будищах*; и смотритель прав, считая полуверстную греблю за 20 верст.

Напившись чаю и, хотя не совсем плотно, закусивши, мы тронулись в дорогу. При выезде из *Лысянки* мы со всею осторожностью въехали на греблю и завязли, что называется, по самые уши в грязи. Тут пришлось нам в первый раз употребить волов в дело. Это было заключение и без того монотонно-длинного спектакля. Я вскарабкался кое-как с телеги на близ стоящую развесистую вербу, потом спустился на землю и сторонкой, выделявая через лужи антраша, перебрался через греблю и, немного отдохнувши, поднялся на гору и у памятника на жидов-

ском кладбище расположился отдохнуть. *Лысянка* передо мной как на ладони красовалась. Все жидовские лачуги можно было пересчитать, а христианские нельзя, потому что они закрыты темными, еще обнаженными садами. Долго я искал глазами в этом лесу груш и яблонь давно и хорошо знакомый мне домик отца диакона Ефрема, у которого я давно когда-то брал первые уроки не рисования, а прямо живописи. Отец Ефрем, чтобы испытать, есть ли у меня способность к этому хитрому делу, заставил меня на листе железа тереть какую-то черно-бурую краску. Я не выдержал испытания и на другой же день показал пяты отцу диакону. Многое переиспытал я после этого первого урока, но ничто так не врезалось в моей памяти, как это первое наивное испытание. Но перейдем лучше к чему-нибудь другому, пока волю вытащат из грязи телегу с Трохимом. Местечко *Лысянка* имеет важное значение в истории Малороссии. Это родина отца знаменитого Зиновия Богдана Хмельницкого, Михайла *Хмеля*. И еще замечательна (если верить туземным старикам) своей вечерней, не хуже сицилийской вечерни, которую служил здесь ляхам и жидам Максим Железняк в 1768 году. Да если считать все подобные события, недостойные памяти человека, замечательными, то не только какая-нибудь *Лысянка*, каждое село, каждый шаг земли будет замечателен в Малороссии, особенно по правую сторону Днепра. В чем другом, а в этом отношении мои покойные земляки ничуть не уступили любой европейской нации, а в 1768 году Варфоломеевскую ночь и даже первую французскую революцию перещеголяли. Одно, в чем они разнились от европейцев, – у них все эти кровавые трагедии были делом всей нации и никогда не разыгрывались по воле одного какого-нибудь пройдохи, вроде Екатерины Медичи, что допускали нередко у себя западные либералы.

Наконец смешная и скучная процессия с телегой была кончена. Я полтинником поблагодарил угрюмого мужика, а выпачканного грязью мальчугана, его усердного сотрудника, поощрил гривною меди. И, благополучно усевшись в телеге, продолжал финальный акт монотонной комедии, т е последние версты моей bestолковой поездки.

Трохим мой хотя и не знахарь, а будущее определяет не хуже любого знахаря. Во время самого обеда телега наша остановилась перед домом моего гостеприимного родича. Встретил он меня на крыльце с салфеткою в руке, а кухня в столовой с озабоченным лицом и с выпачканным в муке носом. Это значило, что куличи в печке еще не поднялись до определенной высоты; этот важный процесс еще не свершился и своей томительной неизвестностью тревожил заботливую хозяйку. Я только так догадывался и, разумеется, не без основания. Страстная неделя уже была на исходе, а в эти дни известно, чем белятся и румянятся усердные ученицы профессорши Авдеевой.

Я подобно Чацкому. Как выразился бессмертный поэт, он попал с корабля на бал, а я с телеги да прямо за стол, и еще чуть-чуть не в непромокаемом плаще и в калошах.

Два раза, с извинением, хозяйка вставала из-за стола и куда-то на минуту выходила и опять возвращалась, храня глубокое молчание. В третий раз она, уже и не извинясь, оставила нас за столом, промедлила минутой более, чем в первые отсутствия, и возвратилась с сияющим лицом и с умытым носом. Значит, великий химический процесс совершился к общему в доме благополучию. Слава Богу! Теперь только посыпались вопросы и расспросы о Киеве, о родне, о знакомых, о приятелях и приятельницах и, наконец, о монахах. Я отвечал как попало; меня занимал рычаг, которым была двинута моя неподвижная кухня на такую необыкновенную деятельность! Рычаг этот – ничего больше, как крошечное тщеславие; ей захотелось блеснуть, что называется, своими куличами перед необразованными провинциалками – так обыкновенно называла она своих соседок. К концу обеда и я немного поразмялся, передал, разумеется, с безукоризненной точностью глубочайшие поклоны моим родичам, сообщил им новорожденные, свеженькие городские сплетни и в заключение рассказал про дормез и заключенную в нем красавицу, про встречу мою с ротмистром Курнатовским и, наконец, про старую дуэнью, которая так невежливо распорядилась моим чаем.

– Так он теперь только возвращается с контрактов? – воскликнула хозяйка.

А хозяин односторонне прибавил:

– Это наш хороший сосед по имению.

– И во всех отношениях прекраснейший человек. Жаль только, что он рано оставил службу, а с таким состоянием, как он имеет, можно бы далеко уйти. Настоящий кавалерист! – прибавила хозяйка неравнодушно. – А кто такая эта молодая красавица, что с ним путешествует? – спросил я, обращаясь к ней. Ее заметно сконфузил мой вопрос; она замялась, покраснела, быстро встала из-за стола и побежала в пекарню. Я посмотрел вслед удалившейся хозяйке и хотел обратиться с таким же вопросом к хозяину. Но увы! Родич мой почти спал с недопитым стаканом сливки в руке. Постный обед возымел свое действие. Он бессмысленно взглянул на меня, и мы молча встали из-за стола, пожали друг другу руки и расстались, проговоривши: «До свидания». Что же значит мой вопрос о путешествующей красавице, от которого моя не весьма конфузная кузина так сконфузилась? Тут что-то интересное кроется. А что именно, известно одному аллаху и, наверное, моей кузине. А когда известно ей, значит, известно всем и всякому, кроме меня, но я постараюсь открыть этот таинственный ларчик. А для чего? И на этом серьезном вопросе я заснул на уготованном мне ложе в так называемом флигеле, в квартире № 1.

Квартира № 1 состояла из небольшой одной комнаты с узеньким, вроде готического, окном. Где же я помещу своего Трохима? Это был первый вопрос, представившийся мне, когда я проснулся и осмотрел мою временную обитель. В этой каморке невозможно, здесь и одному тесно. А он у меня, как истинный хохол, любит развернуться; ему необходим простор. Где же мне его поместить? Оставить его на произвол самого себя невозможно. Он, пожалуй, приютится у ленивой и избалованной дворни, и через неделю я своего Трохима не узнаю. Нет, это непозволительно и грешно даже. Он, не знаю, что вперед будет, а в настоящее время чист и непорочен, как новорожденное дитя. И по наивно-оригинальному характеру своему несколько не подходит к категории лакеев, а тем более крепостных лакеев.

Хотя он, т. е. Трохим, и не первопланная фигура на изображаемой мною картине, но по своей оригинальности требующая некоторой отделки, а тем более, что я дал слово читателю очертить его с некоторыми подробностями. А у меня слово закон, и я теперь намерен сделать два дела за одним присестом: исполнить закон и пополнить пробел сегодняшнего дня, т. е. дня прибытия моего к родичам.

Породю своею Трохим не принадлежит к слоям высшего круга людей. Он просто сын киевского мещанина, и когда взял я его к себе в жокеи, то он большею частью лежал на ларе в передней, но не спал, а глубокомысленно смотрел в потолок. Чтобы переменить род его занятия и предохранить от скорбута, я принялся учить его русской грамоте. Ленивый мальчуган сверх ожидания оказался прилежен и чрезвычайно понятлив. В продолжение месяца он начал читать гражданской печати книгу не хуже своего учителя, т. е. меня. Выучивши грамоте Трохима, я успокоился насчет скорбута и его умственного застоя. Прошло несколько времени, я замечаю, что Трохим мой опять потолком лобует, как будто он совершенно неграмотный.

– Что же ты не возьмешь какую-нибудь книгу и не читаешь? – сказал я ему однажды.

– Я не хочу читать ваши книги, – отвечал он, вставая с ларя. – Они все толстые, их и в год не прочитаешь, да и непонятные, – прибавил он. «Резон», – подумал я и, в виде пробы его вкуса и понятия, дал ему полтинник и послал его в книжную лавку *Должикова* купить себе книгу по своему нраву. Ушел Трохим мой и пропал. Мне нужно было выйти со двора, а квартиру не на кого оставить. Я сердился, но это не помогло. Он возвратился уже в сумерки. Я против обыкновения моего спросил его сердито – где он пропадал во весь день.

– Та все на Подоле, – отвечал он как ни в чем не бывало. – Там все про войну говорили, так я и слушал, – прибавил он, вынимая из кармана книги.

В это время наши войска блокировали Силистрию – меня подстрекнуло любопытство спросить Трохима, что же он слышал о войне.

– Я ничего не слышал, потому что далеко стоял. – И, подавая мне книги, прибавил: – Посмотрите-ка, какое я себе добро купил.

Я чуть не захохотал на его ответ о войне. Книги на меня произвели такое же действие. Одна из них была какая-то физика времен Екатерины II с чертежами; а другая, на синей, толстой бумаге, – переписка той же Екатерины II с Вольтером. «Пропали мои труды и деньги», – подумал я и, отдавая книги, спросил его, для чего он накупил себе этой дряни. Вопрос мой его озадачил, но он тут же оправился.

– Не дрянь, – сказал он, развертывая переписку фернейского мудреца. – Вы только пощупайте бумагу, просто лубок. Не только на мой век, и детям, и внукам достанет такой дебелий книги.

– Хорошо, – сказал я. – Ну, а другую книгу кому ты после себя оставишь? – спросил я.

– Это ничего, что в ней листы немного потоньше; зато она с *куништами*. – И минуту спустя спросил он меня: – А вы мне будете рассказывать, что значат эти куншты?

– Лучше закажи ты завтра столярю липовую таблицу (доску), разведи в чем-нибудь мелу и принимайся писать; выучишься писать, тогда я и расскажу тебе, что значат эти картины, – сказал я ему и велел ставить самовар.

На другой день Трохим принялся за каллиграфию и так же быстро постиг тайну сего изобразительного искусства, как и тайну букваря. Исписавши дести две бумаги, он стал записывать довольно красиво и четко мелочной раскладкой и переписывать песни из московского песенника, который достался ему от отца и лежал до сих пор в сундуке без всякого употребления.

Нужно мне было съездить в Каменец-Подольский, я и Трохима взял с собой, а чтобы занять его чем-нибудь в дороге, я дал ему чистую тетрадку и велел записывать все, что случится во время дороги, начиная с названия почтовых станций, сел, городов и рек. Я был доволен моей выдумкой. «Но кто проникнет зрячим оком непроницаемую тьму грядущего?» – со вздохом должен был я сказать впоследствии.

Возвратясь из путешествия, я, как порядочный хозяин, велел Трохиму показать мне вещи, которые братья были в дорогу. Увы! чемодан был наполовину опорожнен.

– А где же такие и такие-то вещи? – спросил я Трохима.

– А бог их знает, – отвечал он спокойно.

– Хороший же ты слуга. А я еще, как доброму, *словутку* купил. Чего же ты смотрел в дороге? – прибавил я с досадой.

– Я все смотрел, что мне нужно было записывать в тетрадку. Вы же сами приказали, – сказал он с упреком.

Он был совершенно прав, а я кругом виноват. Заставить лакея дорожный журнал вести! Глупо, оригинально глупо!

– Покажи же мне свою тетрадку, я посмотрю, что ты там записывал? – Он вынул из кармана запачканную тетрадку и самодовольно подал мне свое произведение. Манускрипт начинался так:

«До света рано выехали мы из Киева и на десятой версте перед *уездным* трактиром остановились, спросили у горбатого трактирщика рюмку лимонки, кусочек бублика и поехали дальше.

Того же дня и часа, станция Вита. Пока запрягали кони, я сидел на чемодане, а они – т.е. я, – сидели на рундуку, пили сливянку и с курчавою жидовкою *жартовали*».

– Ты слишком в подробности вдаешься, – сказал я ему, отдавая тетрадку. – Спрячь ее, в другой раз я дочитаю. – И, почесавши затылок, пошел к портному и заказал новое платье вместо растерянного в дороге. С тех пор я уже не заставляю его вести путевые записки.

Оригинал порядочный мой Трохим, но что в особенности мне в нем нравится, так это отсутствие малейшей лакейской способности.

VI

Постный обед а в особенности постный борщ, который едва ли едал и сам великий знаток и сочинитель борщей, гетман Скоропадский, так на меня подействовал, что я, проснувшись после этого постного обеда, часа два по крайней мере лежал, что называется, пластом. Сам Лукулл не доказал бы такой удали. Леню пальцем пошевелить; чувствую, что начинает темнеть в комнате – леню на окно взглянуть. Такого рода припадок может случиться только в деревне, и то после постного обеда. Принимался думать о моем матросе – куда тебе, и чепуха даже в голову не лезет. Просто оцепенение моральное и физическое. Пришел Трохим, постоял у дверей, посмотрели мы молча минут пять друг на друга, и на том кончилось наше свидание. Я хотел было посоветоваться с ним насчет помещения, но решительно не мог. Что бы подумал честный, аккуратный или, лучше сказать, умеренный немец, если бы прочитал сие простодушное сказание? «Варвар», – подумал бы умеренный немец. А будь у немцев такой постный борщ, как у нас, православных, то и немец бы не в силах был ничего подумать, а только сказал бы, что все это в порядке вещей.

В комнате едва можно было уже различать предметы, а я все еще находился под влиянием великопостного обеда и был, как бы сказал крючкодей минувших дней, – был нем, аки рыба, и недвижим, аки клада. Что же вывело меня из этого полусуществования? Никто, и даже сам знахарь, не отгадает! За стеной, во втором номере, раздавался молодой женский голос. Я вздрогнул, как будто чего испугался. Оправившись, я приложил ухо к стене, или, правильнее, к перегородке, и только стал вслушиваться в волшебные звуки, как вошел в комнату оборванный, запачканный козачок и именем барыни просил меня в покои кушать чай. Не успел я сказать ему: «приду», – как вошел Трохим с фонарем в руках, это меня окончательно уже поставило на ноги.

– А знаете, кто приехал к нам в гости? – спросил меня Трохим, ставя фонарь на стол.

– Не знаю, – отвечал я, стараясь быть равнодушным.

– *Берлин*, что мы оставили на дороге, – сказал он просто, а не таинственно, как бы следовало.

– Не может быть! Ты ошибаешься, – сказал я, торопливо одеваясь. Он молча взглянул на меня, как бы говоря: разве я могу ошибаться?

Я оделся тщательнее обыкновенного и вышел на двор. Среди двора темнело что-то вроде экипажа; я подошел поближе – действительно, это был знакомый мне дормез. Не веря собственным глазам, я пощупал рессору, замарал грязью руку – и медленно, в ожидании чего-то необыкновенного, пошел в дом.

Растворяя дверь, услышал я знакомый мне хриплый бас и потом такой же хохот ротмистра Курнатовского. Весьма несмело вошел я в гостиную и остановился в изумлении: за чайным столом сидела одна хозяйка и никого больше из нежного пола. Поклонившись хозяйке и поздоровавшись с ротмистром как с старым знакомым, я против воли заглянул в другую комнату; хозяйка это заметила, немного поморщилась и предложила мне стул. Я, как провинившийся, но уже прощенный школьник, сел осторожно на стул и молча все время сидел. Хозяйка необыкновенно была любезна с ротмистром и совершенно не по-светски позволяла себе трунить над моею задумчивостью; мне это не понравилось, и я, тоже не по-светски, взял стакан чаю и вышел в другую комнату.

Тут я нашел еще не совсем проснувшегося хозяина, глотавшего постные сухари с чаем. Не только умеренный немец, но и рыжий Джон Буль стал бы в тупик, увидя, как уплетал мой едва проснувшийся родич сухари с чаем после такого гомерического обеда, как мы с ним уходили. На меня, однако ж, это курьезное явление не произвело должного впечатления. Я был погружен в вопрос, куда девалась непостижимая красавица. Загадка, таинственный сфинкс для

меня эта обитательница подвижного терема! А может быть, она и теперь, как заколдованная, спит в своем тереме? Где же ее старая спутница? Опять сфинкс! Но этот последний если и останется неразгаданным, то мы с читателем не много потеряем. А первый необходимо разгадать. Я вспомнил женский тоненький голосок, слышанный мною из-за стены, и, грешный человек, подумал, как бы теперь кстати была замочная скважина. Прочь, недостойная мысль! Я порядочный человек и с препорядочной лысиной, а не гусар и не донжуан какой-нибудь. Ну, что ж, что красавица? И моя кузина красавица, да черт ли в ней. Она, верно, теперь кокетничает перед зеркалом, натешится досыта, оденется, и она же к нам придет, а не мы к ней.

И чай уже убрали со стола, и хозяйка вышла в темную столовую со своим дорогим гостем, а красавица не являлась. Верно, она нашла себя неавантажной с дороги и сказалась больной. Завтра все объяснится. Я хотел уже идти в свою келию, но нашел это невежливым и остался.

Хозяйка долго хохотала с своим дорогим кавалеристом в темной столовой и говорила про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее словам, вся позеленеет от зависти, когда увидит ее гениальные куличичи.

– И поделом, не скромничай, не секретничай, – сказала она, укротив свой голосок настолько, однако ж, что я из третьей комнаты мог слышать все ее слова. – Сегодня я послала ей подарок – живого барашка. Вежливость, ничего больше. И между прочим, велела своей посланнице хоть мимоходом взглянуть на ее произведения – я говорю о куличах. Она ведь полька, а польки, вы знаете, гениальны на эти вещи. Мне хотелось иметь хотя отдаленное понятие о высоте ее произведений. Вообразите же вежливость мадам Прехтель! И на двор не пустила мою женщину, за воротами встретила и приняла мой подарок. Настоящая светская женщина!

– Сама? За ворота? По этой грязи? – спросил с расстановкой изумленный ротмистр и во все горло захохотал.

– А как бы вы думали? – взаимно спросила восторженная ораторша.

– Это ужасно! – воскликнул вежливый слушатель, и, довольные друг другом, они возвратились в гостиную.

«Кухарка ты, кухарка! моя милая кузина, – подумал я, – да и кухарка-то еще сомнительная! Зато несомненная сплетница».

В гостиной они поместились на чем-то вроде кушетки домашнего изделия, и поместились так близко друг к другу, как только помещаются кум с кумою. Гость, опустя на грудь свои щетинные усы, глубокомысленно погрузился в созерцание одной из замысловатых пуговиц на своей венгерке, напоминавшей ему о недавно минувших попойках и прочих гусарских подвигах. А гостеприимная хозяйка, положа свою полную, до плеча обнаженную белую руку на осьмиугольный столик, тоже домашнего изделия, с неммым участием смотрела на, увы! недавно бывшего гусара.

Не только я – сам почтеннейший родич мой любовался этим живым изображением самой нелицемерной дружбы. Глубокая тишина была нарушена глубоким вздохом хозяйки, потом продолжительным «ах... да...» и быстро обращенным вопросом к бывшему гусару:

– Правда ли... нам привез эту милую новость один наш хороший приятель, – она взглянула искоса на меня, – будто бы эполеты уничтожают? Это несбыточно. Я скорее поверю пришествию жидовского мессии, чем этой нелепой басне!

– И я тоже, – сказал бывший гусар.

– И я тоже, – отозвался полуспящий хозяин.

– Да с чем же это сообразно! – подхватила неистово хозяйка. – Да тогда ни одна порядочная девица замуж не выйдет, все останутся в девках, разве какая-нибудь – Что она еще хотела сказать – не знаю.

– А скажите, – прервал ротмистр, обращаясь к негодующей заступнице эполет, – какой тогда порядочный человек вступит в военную службу? Какая перспектива для порядочного человека? Что за карьера для порядочного молодого человека? Решительный вздор! И кто вас

одолжил этой бессмыслицей? Не из Кирилловского ли монастыря (дом умалишенных в Киеве) вырвался ваш хороший приятель, скажите Бога ради, это чрезвычайно любопытно?

Кузина с торжествующей улыбкой взглянула на своего уничтоженного врага, т. е. на меня, а простодушный мой родич, тот просто показал на меня пальцем и воскликнул:

– Вон он!

– Хватили же вы, батюшка, шилом патоки! – сказал популярно бывший гусар, обращаясь ко мне, забывши, что он светский человек. Так велико было торжество его. А я, как блокированная со всех сторон крепость, чтобы не раздражить напрасным сопротивлением сильного неприятеля, т. е. чтобы прекратить грубую пошлость, сдался на капитуляцию и сказал, что я пошутил.

– Хороша шутка! – воскликнул неистово ротмистр-оратор. – Да знаете ли вы, чем пахнет эта пошлая шутка? Порохом, милостивый государь! Да, порохом! А если пойдет дальше да выше, так, пожалуй, и Сибирью не отделаетесь! – И, переведя дух, он продолжал: – За такую шутку, сударь, вам каждый порядочный, и говорить нечего – каждый, сударь, офицер имеет полное право предложить шутку поострее вашей: я говорю о шпаге – понимаете? – Небольшая пауза. – Хотя я теперь и не ношу этого благородного украшения, т. е. эполет, но случись это не в вашем доме, – тут он обратился к улыбающейся хозяйке, – я первый готов предложить эту любовную сделку! – И, заложа руки в карманы, ярый заступник благородного украшения гордо прошелся несколько раз по комнате, потом остановился перед ликующей моей кузиной и, покручивая свои темно-красные щетинистые усы, сказал самодовольно: – В наш просвещенный девятнадцатый век, – он грозно взглянул на меня, как бы говоря: каково! – турки, персияне, китайцы даже надели эполеты. А мы, кажется, не азиатские варвары, а, слава Богу, европейцы, если не ошибаюсь. Не так ли, madame?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.